

М.М. ЗОЩЕНКО

ПЕРЕД ВОСХОДОМ СОЛНЦА



*ИЗДАТЕЛЬСТВО АСТ
МОСКВА*

УДК 821.161.1-32
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
3-88

Серия «Эксклюзив: Русская классика»

Серийное оформление *Е. Фerez*

Компьютерный дизайн *А. Чаругиной*

Зощенко, Михаил Михайлович.

3-88 Перед восходом солнца : [сборник] / Михаил Михайлович Зощенко. — Москва : Издательство АСТ, 2019. — 384 с. — (Эксклюзив: Русская классика).

ISBN 978-5-17-113037-4

Можно ли изменить собственную суть, собственное «я»?

Возможно ли человеку, раздавленному горем и тоской или же от природы склонному к меланхолии, сознательно воспитать в себе то, что теперь принято называть модным словосочетанием «позитивное мышление»?

Еще с первых своих литературных шагов Зощенко обращался к этой проблеме — и на собственном личном опыте, и опираясь на учения Фрейда и Павлова, — и результатом стала замечательная книга «Перед восходом солнца», совмещающая в себе художественно-мемуарное и научное.

Снова и снова Зощенко перебирает и анализирует печальные воспоминания былого — детские горести и страхи, неразделенную юношескую любовь, трагическую гибель друга, ужасы войны, годы бедности и непонимания — и вновь и вновь пытается оставить прошлое в прошлом и заставить себя стать другим человеком — светлым и новым.

Но каким оказался результат его усилий?

УДК 821.161.1-32

ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-113037-4

© М.М. Зощенко, наследники, 2018

© ООО «Издательство АСТ», 2019

ПРЕДИСЛОВИЕ

Эту книгу я задумал очень давно. Сразу после того, как выпустил в свет мою «Возвращенную молодость».

Почти десять лет я собирал материалы для этой новой книги. И выжидал спокойного года, чтоб в тиши моего кабинета засесть за работу.

Но этого не случилось.

Напротив. Немецкие бомбы дважды падали вблизи моих материалов. Известкой и кирпичами был засыпан портфель, в котором находились мои рукописи. Уже пламя огня лизало их. И я поражаюсь, как случилось, что они сохранились.

Собранный материал летел со мной на самолете через немецкий фронт из окруженного Ленинграда.

Я взял с собой двадцать тяжелых тетрадей. Чтобы убавить их вес, я оторвал коленкоровые переплеты. И все же они весили около восьми килограммов из двенадцати килограммов багажа, принятого самолетом. И был момент, когда я просто горевал, что взял этот хлам вместо теплых подштанников и лишней пары сапог.

Однако любовь к литературе восторжествовала. Я примирился с моей несчастной участью.

В черном рваном портфеле я привез мои рукописи в Среднюю Азию, в благословенный отныне город Алма-Ата.

Весь год я был занят здесь писанием различных сценариев на темы, нужные в дни Великой Отечественной войны.

Привезенный же материал я держал в деревянной кушетке, на которой спал.

По временам я поднимал верх моей кушетки. Там, на фанерном дне, покоились двадцать моих тетрадей рядом с мешком сухарей, которые я заготовил по ленинградской привычке.

Я перелистывал эти тетради, горько сожалея, что не пришло время приняться за эту работу, столь, казалось, ненужную сейчас, столь отдаленную от войны, от грохота пушек и визга снарядов.

— Ничего, — говорил я сам себе, — тотчас по окончании войны я примусь за эту работу.

Я снова укладывал мои тетради на дно кушетки. И, лежа на ней, прикидывал в своем уме, когда, по-моему, может закончиться война. Выходило, что не очень скоро. Но когда — вот этого я установить не решался.

«Однако почему же не пришло время взяться за эту мою работу? — как-то подумал я. — Ведь мои материалы говорят о торжестве человеческого разума, о науке, о прогрессе сознания! Моя работа опровергает «философию» фашизма, которая говорит, что сознание приносит людям неисчислимыя беды, что человеческое счастье —

в возврате к варварству, к дикости, в отказе от цивилизации.

Ведь об этом более интересно прочитать сейчас, чем когда-либо в дальнейшем».

В августе 1942 года я положил мои рукописи на стол и, не дожидаясь окончания войны, приступил к работе.

I

ПРОЛОГ

За доброе желание к игре
Прощается актеру исполненье.

Десять лет назад я написал мою повесть под названием «Возвращенная молодость».

Это была обыкновенная повесть, из тех, которые во множестве пишутся писателями, но к ней были приложены комментарии — этюды физиологического характера.

Эти этюды объясняли поведение героев повести и давали читателю некоторые сведения по физиологии и психологии человека.

Я не писал «Возвращенную молодость» для людей науки, тем не менее именно они отнеслись к моей работе с особым вниманием. Было много диспутов. Происходили споры. Я услышал много колкостей. Но были сказаны и приветливые слова.

Меня смутило, что ученые так серьезно и горячо со мной спорили. Значит, не я много знаю (подумал я), а наука, видимо, не в достаточной мере коснулась тех вопросов, какие я, в силу своей неопытности, имел смелость затронуть.

Так или иначе, ученые разговаривали со мной почти как с равным. И я даже стал получать по-

вестки на заседания в Институт мозга. А Иван Петрович Павлов пригласил меня на свои «среды».

Но я, повторяю, не писал свое сочинение для науки. Это было литературное произведение, и научный материал был только лишь составной частью.

Меня всегда поражало: художник, прежде чем рисовать человеческое тело, должен в обязательном порядке изучить анатомию. Только знание этой науки избавляло художника от ошибок в изображении. А писатель, в ведении которого больше чем человеческое тело — его психика, его сознание, — не часто стремится к подобного рода знаниям. Я посчитал своей обязанностью кое-чему поучиться. И, поучившись, поделился этим с читателем.

Таким образом возникла «Возвращенная молодость».

Сейчас, когда прошло десять лет, я отлично вижу дефекты моей книги: она была неполной и однобокой. И, вероятно, за это меня следовало больше бранить, чем меня бранили.

Осенью 1934 года я познакомился с одним замечательным физиологом (А.Д. Сперанским).

Когда речь зашла о моей работе, этот физиолог сказал:

— Я предпочитаю ваши обычные рассказы. Но я признаю, что то, о чем вы пишете, следует писать. Изучать сознание есть дело не только ученого. Я подозреваю, что пока еще это в большей степени дело писателя, чем ученого. Я физиолог и потому не боюсь это сказать.

Я ответил ему:

— Я тоже так думаю. Область сознания, область высшей психической деятельности больше принадлежит нам, чем вам. Поведение человека можно и должно изучать с помощью собаки и ланцета. Однако у человека (и у собаки) иногда возникают «фантазии», которые необычайным образом меняют силу ощущения даже при одном и том же раздражителе. И тут иной раз нужен «разговор с собакой», для того чтобы разобраться во всей сложности ее фантазии. А «разговор с собакой» — это уже целиком наша область.

Улыбнувшись, ученый сказал:

— Вы отчасти правы. Соотношение часто не одинаково между силой раздражения и ответом, тем более в сфере ощущения. Но если вы претендуете на эту область, то именно здесь вы и встретитесь с нами.

Прошло несколько лет после этого разговора. Узнав, что я подготавливаю новую книгу, физиолог попросил меня рассказать об этой работе.

Я сказал:

— Вкратце — это книга о том, как я избавился от многих ненужных огорчений и стал счастливым.

— Это будет трактат или роман?

— Это будет литературное произведение. Наука войдет в него, как иной раз в роман входит история.

— Снова будут комментарии?

— Нет. Это будет нечто целое. Подобно тому, как пушка и снаряд могут быть одним целым.

— Стало быть, эта работа будет о вас?

— Полкниги будет занято моей особой. Не скрою от вас — меня это весьма смущает.

— Вы будете рассказывать о своей жизни?

— Нет. Хуже. Я буду говорить о вещах, о которых не совсем принято говорить в романах. Меня утешает то, что речь будет идти о моих молодых годах. Это все равно что говорить об умершем.

— До какого же возраста вы берете себя в вашу книгу?

— Примерно до тридцати лет.

— Может быть, есть резон прикинуть еще лет пятнадцать? Тогда книга будет полней — о всей вашей жизни.

— Нет, — сказал я. — С тридцати лет я стал совсем другим человеком — уже негодным в объекты моего сочинения.

— Разве произошла такая перемена?

— Это даже нельзя назвать переменной. Возникла совсем иная жизнь, вовсе непохожая на то, что было.

— Но каким образом? Это был психоанализ? Фрейд?

— Вовсе нет. Это был Павлов. Я пользовался его принципом. Это была его идея.

— А что сами вы сделали?

— Я сделал, в сущности, простую вещь: я убрал то, что мне мешало, — неверные условные рефлекссы, ошибочно возникшие в моем сознании. Я уничтожил ложную связь между ними. Я разорвал «временные связи», как называл их Павлов.

— Каким образом?

В то время я не полностью продумал мои материалы и поэтому затруднился ответить на этот вопрос. Но о принципе рассказал. Правда, весьма туманно.

Задумавшись, ученый ответил:

— Пишите. Только ничего не обещайте людям.

Я сказал:

— Я буду осторожен. Я пообещаю только то, что получил сам. И только тем людям, которые имеют свойства, близкие к моим.

Рассмеявшись, ученый сказал:

— Это немного. И это правильно. Философия Толстого, например, была полезна только ему и никому больше.

Я ответил:

— Философия Толстого была религия, а не наука. Это была вера, которая ему помогла. Я же далек от религии. Я говорю не о вере и не о философской системе. Я говорю о железных формулах, проверенных великим ученым. Моя же роль скромна в этом деле: я на практике человеческой жизни проверил эти формулы и соединил то, что, казалось, не соединялось.

Я расстался с ученым и с тех пор больше его не видел. Вероятно, он решил, что я забросил мою книгу, не справившись с ней.

Но я, как уже доложено вам, выжидал спокойного года.

Этого не случилось. Очень жаль. Под грохот пушек я пишу значительно хуже. Красивость, несомненно, будет снижена. Душевные волнения поколеблют стиль. Тревоги погасят знания. Нервность воспримется как торопливость. В этом усмотрится небрежность к науке, непочтительность к ученому миру...

Ученый!

Где речь неучливой увидишь мою, —

Сотри ее, я позволенье даю.

Пусть просвещенный читатель простит мои преступления.

II

Я НЕСЧАСТЕН — И НЕ ЗНАЮ ПОЧЕМУ

О горе! Бежать от блеска солнца
И улады искать в тюрьме,
При свете ночника...

Когда я вспоминаю свои молодые годы, я поражаюсь, как много было у меня горя, ненужных тревог и тоски.

Самые чудесные юные годы были выкрашены черной краской.

В детском возрасте я ничего подобного не испытывал.

Но уже первые шаги молодого человека омрачились этой удивительной тоской, которой я не знаю сравнения.

Я стремился к людям, меня радовала жизнь, я искал друзей, любви, счастливых встреч... Но я ни в чем этом не находил себе утешения. Все тускнело в моих руках. Хандра преследовала меня на каждом шагу.

Я был несчастен, не зная почему.

Но мне было восемнадцать лет, и я нашел объяснение.

«Мир ужасен, — подумал я. — Люди пошлы. Их поступки комичны. Я не баран из этого стада».

Над письменным столом я повесил четверостишие из Софокла:

Высший дар нерожденным быть,
Если ж свет ты увидел дня —
О, обратной стезей скорей
В лоно вернись родное небытия.

Конечно, я знал, что бывают иные взгляды — радостные, даже восторженные. Но я не уважал людей, которые были способны плясать под грубую и пошлую музыку жизни. Такие люди казались мне на уровне дикарей и животных.

Все, что я видел вокруг себя, укрепляло мое воззрение.

Поэты писали грустные стихи и гордились своей тоской.

«Пришла тоска — моя владычица, моя седая госпожа», — бубнил я какие-то строчки, не помню какого автора.

Мои любимые философы почтительно отзывались о меланхолии. «Меланхолики обладают чувством возвышенного», — писал Кант. А Аристотель считал, что «меланхолический склад души помогает глубокомыслию и сопровождает гения».

Но не только поэты и философы подбрасывали дрова в мой тусклый костер. Удивительно сказать, но в мое время грусть считалась признаком мыслящего человека. В моей среде уважались люди задумчивые, меланхоличные и даже как бы отрешенные от жизни*.

* Недавно, перелистывая «Дневник» В. Брюсова, я нашел такие строчки: «Хорош Ярошенко. Милый человек. Чужд жизни...»

Короче говоря, я стал считать, что пессимистический взгляд на жизнь есть единственный взгляд человека мыслящего, утонченного, рожденного в дворянской среде, из которой я был родом.

Значит, меланхолия, думал я, есть мое нормальное состояние, а тоска и некоторое отвращение к жизни — свойство моего ума. И, видимо, не только моего ума. Видимо, всякого ума, всякого сознания, которое стремится быть выше сознания животного.

Очень печально, если это так. Но это, вероятно, так. В природе побеждают грубые ткани. Торжествуют грубые чувства, примитивные мысли. Все, что истончилось, — погибает.

Так думал я в свои восемнадцать лет. И я не скрою от вас, что я так думал и значительно позже.

Но я ошибался. И теперь счастлив сообщить вам об этой моей ужасной ошибке.

Эта ошибка мне тогда чуть не стоила жизни.

Я хотел умереть, так как не видел иного исхода.

Осенью 1914 года началась мировая война, и я, бросив университет, ушел в армию, чтоб на фронте с достоинством умереть за свою страну, за свою родину.

Однако на войне я почти перестал испытывать тоску. Она бывала по временам. Но вскоре проходила. И я на войне впервые почувствовал себя почти счастливым.

Я подумал: отчего это так? И пришел к мысли, что здесь я нашел прекрасных товарищей и вот почему перестал хандрить. Это было логично.

Я служил в Мингрельском полку Кавказской гренадерской дивизии. Мы очень дружно жили. И солдаты, и офицеры. Впрочем, может быть, тогда мне так казалось.

В девятнадцать лет я был уже поручиком.

В двадцать лет — имел пять орденов и был представлен в капитаны.

Но это не означало, что я был герой. Это означало, что два года подряд я был на позициях.

Я участвовал во многих боях, был ранен, отравлен газами. Испортил сердце. Тем не менее радостное мое состояние почти не исчезло.

В начале революции я вернулся в Петроград.

Я не испытывал никакой тоски по прошлому. Напротив, я хотел увидеть новую Россию, не такую печальную, как я знал. Я хотел, чтоб вокруг меня были здоровые, цветущие люди, а не такие, как я сам, — склонные к хандре, меланхолии и грусти.

Никаких так называемых «социальных расхождений» я не испытывал. Тем не менее я стал по-прежнему испытывать тоску.

Я пробовал менять города и профессии. Я хотел убежать от этой моей ужасной тоски. Я чувствовал, что она меня погубит.

Я уехал в Архангельск. Потом на Ледовитый океан — в Мезень. Потом вернулся в Петроград. Уехал в Новгород, во Псков. Затем в Смоленскую губернию, в город Красный. Снова вернулся в Петроград...

Хандра следовала за мной по пятам.

За три года я переменял двенадцать городов и десять профессий.

Я был: милиционером, счетоводом, сапожником, инструктором по птицеводству, телефонистом пограничной охраны, агентом уголовного розыска, секретарем суда, делопроизводителем.

Это было не твердое шествие по жизни, это было — замешательство.

Полгода я снова провел на фронте в Красной Армии — под Нарвой и Ямбургом.

Но сердце было испорчено газами, и я должен был подумать о новой профессии.

В 1921 году я стал писать рассказы.

Моя жизнь сильно изменилась оттого, что я стал писателем. Но хандра осталась прежней. Впрочем, она все чаще стала посещать меня.

Тогда я обратился к врачам. Кроме хандры, у меня было что-то с сердцем, что-то с желудком и что-то с печенью.

Врачи взялись за меня энергично.

От трех моих болезней они стали меня лечить пилюлями и водой. Главным образом водой — вовнутрь и снаружи.

Хандру же было решено изгонять комбинированным ударом — сразу со всех четырех сторон, во фланги, в тыл и лоб — путешествиями, морскими купаниями, душем Шарко и развлечениями, столь нужными в моем молодом возрасте.

Два раза в год я стал выезжать на курорты — в Ялту, в Кисловодск, в Сочи и в другие благословенные места.

В Сочи я познакомился с одним человеком, у которого тоска была значительно больше моей. Минимум два раза в год его вынимали из петли, в ко-